

## СУВЕРЕНИТЕТ И СУВЕРЕННОСТЬ: ПРОСТРАНСТВО ОТЧУЖДЕННОСТИ И ВЛАСТИ

**Аннотация.** В статье затрагиваются базовые вопросы правовой теории — соотношение суверенитета как статуса и суверенности как качества и свойства правовой реальности. Характеристики правового суверенитета сопоставляются с признаками такой политической формы, как абсолютная монархия, для которой суверенитет был определяющим фактором и стилем. Авторитарность, порождаемая суверенитетом, тесно связана с проблемами господства и подчинения. Автор анализирует такое понятие, как «эстетическое государство», рожденное в эпоху Ренессанса и трансформированное в процессе развития суверенитета и абсолютной монархии. Особое значение при анализе проблемы имеет также такая категория, как «индивидуальный закон», используемая при определении суверенитета и суверенности. Пересечение правовых, культурных, психологических элементов позволяет полнее раскрыть наиболее важные аспекты проблемы. Суверенитет в качестве особого правового статуса может быть выражен в коллективной или индивидуальной форме. Суверенитет не тождествен диктатуре, хотя включает в себя элемент господства. Диктатура предполагает срочность своего существования и ситуацию чрезвычайного положения, суверенитет претендует на вечное или хотя бы длительное существование. Суверенитет не совпадает с суверенностью, для этой последней свойственна ориентированность на состояние свободы и самоопределения, суверенитет всегда тяготеет к гегемонии. «Маски» суверенитета многообразны, однако его сущность остается неизменной. Суверенитет формирует пространство неприкосновенности и требует сосредоточенности власти в одном центре. Институт представительства является для него второстепенными образованиями. Политическое внимание сосредоточенно на едином субъекте властвования. Субъективность — определяющая черта суверенности. Монархические и республиканские формы достаточно аморфны и не определены, чтобы непосредственно и однозначно быть связанными с понятием суверенитета. Что касается правовой сферы, суверенитет, сам являясь порождением юридического, формирует нормы и институты, воздействующие на окружающие его контексты. Характерным является исключительность, обусловленная субъективизмом, которая свойственна суверенному нормотворчеству. Учреждающее законодательство суверена характеризует деятельность как коллективного, так и индивидуального суверена. История монархий и республик во многом схожа именно благодаря этим свойствам суверенного существования.

**Ключевые слова:** право, закон, суверенитет, суверенность, авторитарность, власть, долженствование, субъект, общность, насилие, король, двор, конституция, чрезвычайное положение, исключение, абсолютизм, суверен, норма, представительство, монархия,

© Исаев И. А., 2016

\* Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки РФ  
kafedra-igp@mail.ru  
125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

*республика, легитимность, легальность, диктатура, власть, субъект права, политическая свобода, господство, статус, закон, законность, справедливость.*

DOI: 10.17803/1729-5920.2016.114.5.009-032

## 1. СУВЕРЕНИТЕТ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Жорж Батай как-то заявил, что он не знает более значимых вещей в политике, чем власть и суверенитет. За четыреста лет до него формулу суверенитета уже вывел Жан Баден, честно сославшись на своих предшественников, открывших идею, — Аристотеля, Полибия и Дионисия; первым же из тех, кто поставил проблему суверенитета, Агамбен называет Протагора. Однако истоки идеи все еще теряются в глубокой древности и мифе...

Суверенитет выходит на историческое и политическое пространство Европы одновременно с абсолютизмом и барокко. Стиль, который предлагала человечеству эта эпоха, претендовал на первичную креативность и отвергал подражательность, столь свойственную позднему Средневековью. Суверенность предполагала самососредоточенность и самоорганизацию, одновременную независимость «от» и «для», проявленную вовне и артикулированную самость политического субъекта. Перефразируя Бюффона, самость — сама по себе есть стиль, в котором достаточно эффективно подавляется внутренний хронический конфликт: здесь выражение «равенство» напоминает о некоем политическом романтизме и, поскольку эффективным оказывается именно спор, нацеленный на достижение равновесия и баланса, а не философское обоснование политических принципов, постольку вполне допустимой кажется и замена идеи политического обоснования идеями политического стиля.

Допустимость замены «истины», предполагаемой идеологической политикой, красотой эстетической политической теории подтверждается уже тем обстоятельством, что «более важным для массы народа являлось не столько осознанное почитание собственных правителей, сколько театральные блеск самой их власти: у двора и аристократии есть одно великое свойство, которому они обязаны своей властью над массой... Это свойство — заметность»<sup>1</sup>.

Индивид, помещенный в пространстве политического порядка без какой-либо репрезентации, казалось, уже не нуждался в том, чтобы выйти за собственные пределы и посмотреть на мир с иной точки зрения, оставаясь чужим в этом политическом порядке: традиционная «миметическая репрезентация» создавала такой порядок, в котором все были убеждены, что они уже существуют в гармонии с коллективом, «эстетическая же репрезентация меняет это отношение»<sup>2</sup>: только благодаря своей эстетической репрезентации индивид и становится актуальным и суверенным микрокосмом политического порядка.

Еще Шиллер мечтал о такой форме идеального сообщества, о некоем эстетическом государстве, в котором раскрываются все лучшие качества личности. Суверенность же как политическое качество и интенция всегда предшествовала появлению суверенитета как статуса, при этом сохраняя свойства интимного и внутреннего, противостоящего публичному и внешнему. Процессы исторического разворачивания, происходящие в дальнейшем, только закрепляют это противостояние: суверенность все больше и больше будет связываться с представлениями о внутренней свободе субъекта, а суверенитет — с абсолютистскими устремлениями власти: первая тенденция начинает формироваться из духа Ренессанса, подпитываемая античной, особенно стоической, традицией, вторая достигнет своего апогея только в эпоху «короля-солнца».

Двор Людовика XIV, по замечанию самого наблюдательного современника, представлял собой пространство, в котором была выражена сама личность суверена, двор с его замысловатыми ритуалами формировал и общий стиль власти, и ее внешнюю персонификацию. Сами попытки подражать государственности «короля-солнца», предпринятые целым рядом монархов, указывали на сформированный его правлением политический стиль, на факт особого стиля власти. Суверенность становилась

<sup>1</sup> Беджгот В. Государственный строй Англии. М., 1905. С. 332.

<sup>2</sup> Анкерсмит Ф. Эстетическая политика. М., 2014. С. 76—77.

модой для европейских монархов, сама будучи заимствованной из политического стиля римских цезарей. Ренессанс, Барокко и даже Просвещение привнесут в систему суверенного властвования слишком многие черты давно ушедшей Античности (подмешав к этому становившиеся модными восточные, и особенно китайские, мотивы).

Очевидно, что этикет для короля являлся не только инструментом для статусного дистанцирования, но и для организации и демонстрации господства. Сам Людовик XIV заметил по этому поводу: «Для публики очень важно, чтобы его управлял один, ей также необходимо, чтобы тот, кто выполняет эту функцию, находился на такой недостижимой высоте, где его нельзя было бы ни с кем спутать, ни с кем сравнить. И невозможно отнять у правителя ни одного знака его превосходства, который выделяет его перед всем обществом, не нанеся при этом вреда всему государству». Народ просто не верит в такую власть, которая хотя и существует, но не проявляется зримо, выражаясь в манере поведения самого властителя. И чем больше дистанция между правителем и его подданными, тем больше будет почтения к нему народа: «Народ должен видеть, чтобы верить»<sup>3</sup>, — выражением такой направленности внимания всего государства на особу короля и на ее возвышение или обособление становится этикет.

Государство как «произведение искусства», несомненно, появилось еще в эпоху Ренессанса, и об «эстетическом государстве» мечтал Шиллер. Эстетика абсолютной суверенной монархии выражалась в величественности и недостижимости, барочные небеса стали местом обитания почти божественного монарха, а демонстративная удаленность его от брэнной земли подчеркивала его верховный статус: именно оторванность, исключительность, дистанцированность создают образ суверена. Ж. Боден, естественно отдавая предпочтение монархической форме государственности, полагал, что только она одна и способна гарантировать настоящее беспристрастие в деле применения законов; эта способность базируется либо на справедливости, либо на несправедливости монарха (последнее случилось, когда человек, наделенный властными полно-

мочиями, «окружал себя бандой разбойников и склонял наиболее слабых к рабству», уже сама эта власть приобреталась путем преступления). «Нормальный» же путь к ограниченной монархии как благородной цели обычно совершают демократия и олигархии, что кажется вполне созвучно их природе, считает Болен. (В этом же будет убежден и Дж. Вико, увидевший в монархической форме искомый итог государственного развития.)

Динамика различных политических форм неоднородна: монархии почти всегда плавно переходят в тиранию, правда, без особого насилия, аристократия — в олигархию, демократия — в охлократию. И только переход от тирании к народной форме правления всегда имеет насильственный характер<sup>4</sup>, здесь социальность вытесняет героические (М. Вебер сказал бы «харизматические», а Батай — «трагические») основания общности, для которых суверен традиционно являлся неотъемлемой и неоспоримой вершиной становления. Ведь именно суверен вносил в политическую форму черты блеска и великолепия, барочного излишества и политического драматизма. Героическое немыслимо без трагизма, как социальное — без равновесия, сострадания и защищенности. «Здесь обнаруживается различие в рангах между трагическим и социальным миром, в котором страдание обусловлено внешними отношениями и потому ожидается его преодолением извне. Здесь внешнее не выражение и средство, а суть и цель. Это делает социальную драму противоречием о себе самой, т.к. в ней не трагическая, а гуманитарная и цивилизационная задача решается трагическими средствами» (Эрнст Юнгер)<sup>5</sup>.

Суверенность как качество вполне может быть индивидуальной, суверенитет как статус и вместе с тем функция всегда предполагает наличие коллективности. С этим связаны соответственно частный характер первой и публичный характер второго, несоприкасающиеся друг с другом аллюзии свободы и подчиненности.

Однако реальные социальные различия лежат уже в самой основе суверенитета и своим полаганием суверенности «люди минувших столетий сами когда-то придали этой диф-

<sup>3</sup> Цит. по: Элиас Н. Придворное общество. М., 2002. С. 147.

<sup>4</sup> См.: Боден Ж. Метод легкого изучения истории. М., 2000. С. 192—193.

<sup>5</sup> Юнгер Э. Рискующее сердце. СПб., 2010. С. 249.

ференциации весь ее размах». В плане суверенности упразднение различий имело бы негативную значимость: «Решительная центральная воля к их упразднению, ненависть к суверенным формам, к тому, что произвольно выражает и обеспечивает личную суверенность господина, — такова основа всякой революционной суровости». Но суверенность не может рассматриваться только как форма, которую воплощает история: «Если она и появляется в перспективе истории, то на самом деле она уже имела; история лишь освобождает людей от того, что мешало им ее найти»<sup>6</sup>: суверенность изначально и противостоит тотальности, как изначально свет противостоит тьме.

Суверенность не следует смешивать с автономным решением индивида. «Если в автономном решении не проявляется суверенный принцип, преодолевающий все служебное, то оно может и не заключать в себе ничего суверенного, оно может быть даже рабским и знаменовать порабощение человека, который свободно его принял. По своей глубинной сути суверенность не содержит ничего личного»<sup>7</sup>. Поэтому суверенные институты прошлого существовали вполне объективно. Король, окруженный короновавшим его духовенством, был как бы отражением той общей суверенности, что заключала в себе сокровенные душевные движения народа и толпы. Смысл королевской власти, в которой единство разных аспектов суверенности устанавливалось для других и объективно, не имел отношения к личным потребностям самого короля: «Требовалось отвечать желаниям народа, равнодушным к тем личным задачам, которые мог ставить перед собой король».

Но в действительности суверенность никогда не бывает абсолютно объективной и, более того, обозначает глубокую субъективность: она дана лишь в воображении, которое только и способно сделать с нею то, чего не может осуществить даже воля целого народа. Человек массы видит в суверене не отвлеченный объект, а личностного субъекта: суверен обладает привилегией быть для него тем внутренним существом — той глубинной истиной, к которой относится важная часть его усилий — как раз та, что он отдает другим. Суверен становится

как бы посредником между ним и другими. Людям кажется, что какой-то человек вполне удачно замещает их, умеет говорить и отвечать вместо них: «Когда суверенное достоинство утверждается и относится к субъекту, вещи недвусмысленно подчиняются ему. Но ничто не изменяется и тогда, когда явная суверенность отменяется и вместо нее появляются сглаженные и закамуфлированные формы». Традиционная суверенность всегда подчеркнута, чтобы быть хорошо видимой, и именно такая суверенность, как исключительная (один-единственный субъект), имеет преимущественное право над остальными<sup>8</sup>.

Республиканские идеологии уже в середине XVII века поднимали голову во Франции и в Англии. Защищаться от них с помощью рациональных методов и договоров было сложным делом, и монархия в борьбе с ними была вынуждена все вновь и вновь подчеркивать свои духовные, мистические преимущества и элементы: «На величие суверена нельзя было смотреть, чтобы не осквернить его взглядом». Особый же статус монархии выражался преимущественно через ее публичность, поскольку при этом появлялась возможность облачать самые, казалось бы, обычные жесты и действия государя почти небесным достоинством и величием: «Точность и пунктуальность были необходимыми качествами для правителя, биоритмы которого сопоставлялись с гармонией небесных тел».

Барокко как раз и стало тем стилем, который продемонстрировал миру, насколько все другие стили непригодны для пропаганды королевской власти: за всем этим крылось стремление монархов поразить воображение людей: а «им требовалось *maiestas*, внушительное, великолепное действие». И чем меньшими средствами принуждения обладали монархи, тем сильнее старались внедрить в умы своих подданных идею повиновения, вовлекая их в этот роскошный спектакль. Достоинство, справедливость, благочестие и военная мощь монарха находили отражение в произведениях литературных пропагандистов, а их праздники и процессии изобиловали достаточно откровенными аллюзиями на библейские и античные сюжеты, настраивая зрителей на мистический лад<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Батай Ж. Суверенность // Проклятая часть. М., 2000. С. 390, 397, 341.

<sup>7</sup> Батай Ж. Указ. соч. С. 344.

<sup>8</sup> См.: Батай Ж. Указ. соч. С. 344.

<sup>9</sup> См.: Хеншелл Н. Миф абсолютизма. СПб., 2003. С. 191.



Вообще, барокко означает излишество. Барокко с его метафорической чрезмерностью, напыщенностью и искусственностью, холодной и расчетливой бесчувственностью, было насильственно проникнуто и мобилизовано апокалипсическими видениями; в поэзии барокко доминировали мотивы конца света. (Автор периода тридцатилетней войны писал: «Эта жизнь подобна кораблю в бушующем море, ...другим тысячам "нет", сопряженным с быстротечностью. И время, в котором мы живем, это — настоящая ночь, полная ужаса и опасности»<sup>10</sup>.) Суверен существовал в мире трагических крайностей, героики и жертвенности. Власть возвышалась и тяготила одновременно, — законодательствуя, суверен ограничивал сам себя: противоположности сходились, как сходятся в барокко идеи целостности и доскональной детализации. Тиранизм и мученичество одновременно и в одном лице в эпоху барокко — это две стороны двуликого Януса коронованной особы, два необходимых крайних воплощения монаршей сущности: «Теория суверенитета, для которой частный случай развития диктаторских полномочий становится образцовым, подталкивала к тому, чтобы придать образу суверена тиранические черты, даже там, где обстоятельства к тому не принуждают»<sup>11</sup>.

И Боден, и Гоббс поочередно попытались выработать в теории суверенитета некий концептуальный инструмент, позволяющий уменьшить автономию и инерцию конкретной политической сферы, чтобы покончить с конкретными ужасами конкретной гражданской войны. Их теории позволили в какой-то мере обуздать инерцию или холизм современной им политической реальности и дали возможность понять, что в самой политической сфере имманентно заложена некая целостность или коллективность, собственная воля, более сильная, чем политическая воля всех индивидов вместе взятых<sup>12</sup>, — целое оказывалось большим, чем сумма составлявших его частей. (О правлении Людовика XIV было сказано: это был абсолютизм в его совершеннейшей форме, он оторвался от своих корней. Он отстранился

от общества и институтов, некогда созданных французской монархией. Но чтобы быть единственным и превосходить всех, король должен был также удалиться и от центра страны, для чего он построил в Версале не просто новый дворец, но настоящий символ абсолютизма<sup>13</sup>. Этот новый порядок оценивался А. Токвилем как настоящий деспотизм: «Я вижу неисчислимые толпы равных и похожих друг на друга людей... Над всеми этими толпами возвышается гигантская охранительная власть... следящая за судьбой каждого в толпе. Власть эта абсолютна, дотошна, справедлива, предусмотрительна и ласкова... Власть эта стремится к тому, чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии»<sup>14</sup>. Это власть опекуна.)

Образ суверена двоятся в нововременной картине политического мира уже потому, что парадигма «двух тел короля» порождает неустойчивость и в его восприятии: непреходящее королевское высочество сопрягается здесь с физическим телом монарха, которое трагически подвержено слабостям и смерти. (У Сен-Симона сам образ короля одновременно подвижен и статичен. Людовик в последние годы царствования демонстрирует классические негативные характеристики суверена: в трудной политической ситуации он замкнулся в себе, подавляя «двор, совесть, своих подданных и все несчастное королевство гнетом все более ужесточающейся власти, стремясь с помощью плохо согласованных средств как можно больше расширить ее пределы, чем только выказывал свою слабость, которой с презрением злоупотребляли его враги»<sup>15</sup>.) Личность абсолютного монарха оказалась последним препятствием на пути к анонимизации любого политического действия и мысли, которые теперь могли начать жить вполне независимо от самих породивших их деятелей и мыслителей. Казнь Людовика XVI не только станет концом некоего периода политической истории, но и ознаменует собой конец традиционалистской философии действия: «Молчание воцаряется вместо шумного театрального представления себя, которое было характерно для общества XVIII века».

<sup>10</sup> Гильманов В. Х. Симон Дах и тайна барокко. Калининград, 2007. С. 34—35.

<sup>11</sup> Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002. С. 56.

<sup>12</sup> См.: Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 26.

<sup>13</sup> Цит. по: Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 313—314.

<sup>14</sup> Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. Ч. II. С. 497.

<sup>15</sup> Сен-Симон. Мемуары. М., 1991. Кн. 1. С. 30.

Теперь молчание и безразличие станут историческими силами, и в них все видимые политические взаимодействия выйдут за пределы ставшей архаической модели стоицистского социального порядка<sup>16</sup>.

Символизм суверенной власти выражался в одной, еще Платоном идеализированной геометрической форме или фигуре — сфере. Космоподобная закрытость суверенного пространства власти здесь была наиболее четко артикулирована: шару как символу космоса приписывался величественный предикат силы — над ним властвовала мировая сила неизбежности. «Важнейшее дело этой силы — интеграция всего в пределы сферического купола, в котором воплощается... серьезность и решительность закона. Шар представлял собой удерживаемо-удерживающее тело порядка, купол силы», он же — символ божественного кругозора и властвующей неизбежности. Чтобы силой границы удерживать в непостоянности величайшее, сильнейшее должно быть действительно сильным, отчего шар и следует рассматривать не столько как геометрическую фигуру мысли, сколько как энергетическое, если не имперское, проявление власти» (Петер Слотердайк)<sup>17</sup>.

## 2. СУВЕРЕНИТЕТ КАК «ОЩУЩЕНИЕ ГРАНИЦЫ»

Боссюэ, этот верный апологет Людовика XIV, в свое время выдвинул четыре главных тезиса, очерчивающих пределы королевского суверенитета: король ни перед кем не отчитывается за свои действия; принятое им решение отменяет все остальные; ни одна власть не может ему препятствовать; сам он, однако, не исключен из сферы действия права. (В 1766 году Людовик XIV объявил себя единственным источником власти и права и его слова «государство — это я» прежде всего были указанием на необходимость для всех властей и статусов ориентироваться исключительно на его персону.) Законодательная прерогатива монарха заключалась в неограниченном праве вносить законы на рассмотрение, право же их утверждения принадлежало парламенту, однако категорического и формального разде-

ления властей (в том виде, как представлял это себе Монтескье) никогда не было в реально существовавшей системе абсолютизма. Способность же суверена присутствовать повсеместно, одновременно оставаться в политическом центре и появляться на его периферии (и здесь явно и плодотворно функционировало «другое тело короля») была обусловлена его полным (или кажущимся таковым) господством в обозримом пространстве власти: посредством механизмов представительства и бюрократии суверенитет выступает здесь одновременно как коллективная и персональная субъективность.

Единоличного властителя поддерживали в его господствующем положении зависть, противоречия и напряжения, существовавшие в окружавшем его и созданном его функцией социальном поле: ресентимент, который его окружал, нуждался лишь в эпизодическом вмешательстве суверена в эту ситуацию, для того чтобы ее регулировать и создавать структуры, которые ее поддержат, балансируя на противоречиях и различиях. Такими механизмами, среди прочих, являлись двор как центр влияния на политическую периферию и этикет как эстетический инструмент господства. Кроме всего прочего, подобное устройство общественной механики позволяло обладателю власти достигать значительных результатов при небольшом приложении собственных сил<sup>18</sup>. Король и его чиновники возвышались среди окружающего их придуманного «сакрального» мира, словно великолепный фасад, под прикрытием которого сталкивались самые разные интересы, одни непризнаваемые, другие непризнанные: перед этим фасадом вполне можно было ощутить чудесный блеск мгновения, но этот блеск как раз и мешал увидеть всю грязную реальность порядка вещей.

Психополитический контекст суверенной власти составляли, с одной стороны, амбиции сословий, претендующих на участие во власти, с другой — безликий нейтралитет служилой бюрократии, анонимной и молчаливой. Макс Вебер заметил: «Пока буржуазия добивалась определенности в администрации юстиции, бюрократия была заинтересована в подчинении законам». Пропитанные римскими доктри-

<sup>16</sup> См.: Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 132.

<sup>17</sup> Слотердайк П. Сферы. СПб., 2007. Том II. Глобусы. С. 31.

<sup>18</sup> Элиас Н. Указ. соч. С. 163.

нами королевской декретной власти, юристы-бюрократы были активными проводниками королевского централизма. Этот корпус легистов более, чем какая-либо другая сила, романтизировал юридические системы Европы еще в эпоху Ренессанса. «Трансформация закона с неизбежностью отражала распределение власти... Абсолютизм, как реорганизованный аппарат господства аристократии, был центральным архитектором восприятия римского права в Европе»<sup>19</sup>. Настоящая же бюрократия нарождается только при абсолютизме... Сам суверен создает ее и тем самым отрывается от связывающих его власть сословных пут и напряжений. Имманентный формализм права, его обезличенность, привнесенная римским правом, облегчали ему решение этой задачи: помимо иерархии заповедью бюрократической государственности становится формальная законность, что вполне устраивало суверена.

Обычно царское великолепие не сияло в одиночестве. Ему необходимо было признание. При этом царское величие выглядело как авторитарная «расстановка по местам», этот порядок полностью и картинно воплощался в архитектонике «двора»: в иерархической пирамиде статусные или социальные положения поддерживали «верховное властное достоинство, превосходящее их всех и единственно обладающее бытийственной полнотой».

Должность же с необходимостью принижала. Суверенность, от которой пассивное большинство отказывалось в пользу одного человека, как раз и делала его такой «политической должностью»: король и чиновники образовывали единое целое, король же излучал свое великолепие, без которого чиновники не имели бы власти, присущей их должности. И сами чиновники от своей эффективной деятельности также получали часть суверенности: «Суверенное достоинство власти вязло в должностных обязанностях... которые придают блеск тем, кто их выполняет»<sup>20</sup>. Поэтому нельзя считать вполне искренним заявление Фридриха Великого о том, что он не более чем «первый слуга своей нации».

(Рядом с пространством прямой власти всегда существует некое «предпространство косвенных влияний и сил» («доступ к уху», «коридор, ведущий к душе властителя»), не бывает человеческой власти без такого предпространства и такого «коридора». Самый мудрый институт, самая хорошо продуманная организация не могут полностью искоренить это предпространство, эту «камарилью» или «переднюю»<sup>21</sup>. Рядом с абсолютным монархом всегда и везде существовали некая группа или орган информаторов и советников, оказывающих влияние на принятие сувереном политических решений.)

Потребности дворянства в престиже и статусной социальной дистанции позволяли королю сделать это сословие неотъемлемой частью придворных связей и ритуалов: «Если бы королю противостояло государство как социальная структура, имеющая самостоятельный смысл и характер, то для него оказалось бы возможным отделить и в собственной своей жизни деятельность, обращенную на государство, от той, которая относилась только к нему самому». Но государство в то время не имело для суверена самостоятельного смысла и самооценности: все вокруг было ориентировано на восприятие королевской жизни исключительно как подлинной и главной ценности, все должно было служить возвышению короля — различий между публичным и частным в жизни суверена все еще не существовало<sup>22</sup>.

Величие становится психополитическим стилем: происходит скачок от власти к великолепию, от голого превосходства в силе к пышной славе суверена. Посредством этого фактора и князья намечали контуры своей символической власти: король же, с одной стороны, оставался героической силой, а с другой — «королем милостью Божьей»; снизу его власть была завоевана триумфами, а сверху освящалась космической легитимацией<sup>23</sup>.

Но героическая личность суверена неизбежно затмевалась анонимностью системы управления, составленной из безликих чинов-

<sup>19</sup> Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010.

<sup>20</sup> Батай Ж. Указ. соч. С. 351—352.

<sup>21</sup> Шмитт К. Разговор о власти и о доступе к властителю // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 2. С. 31.

<sup>22</sup> См.: Элиас Н. Указ. соч. С. 171.

<sup>23</sup> Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 259.

ников. Личные качества суверена сливались с политическим рельефом государственности, которую он олицетворял, а принятие решений требовало объективности, знания ситуации, поэтому индивидуальной политической воли становилось явно недостаточно, требовалось еще и участие целого этоса: харизма должна была уступить место аморальной механике властвования, агрессивный статусный суверенитет сужал сферу волонтарной суверенности.

Макиавеллиева *virtu* все еще представляла собой индивидуальную способность государственного деятеля, способность сразу разобраться в сложной ситуации и схватить ее суть, чтобы понять, в каком направлении следует действовать. Она предлагала рассматривать моральный мотив только как одно из нескольких практических соображений, лежащих в основании политического действия. Она «скорее неморальна, чем аморальна», в своем требовании к политике сочетать знание и действие<sup>24</sup>. (Фридрих Мейнеке наглядно показал связь между *virtu* и государственным интересом: оба фактора признают непреднамеренные последствия всякого человеческого действия, но в отличие от харизматического лидера, о котором говорил Макс Вебер, монарх оказывается способным создать такой механизм, который в значительной мере уменьшит его личный риск и необходимость его неординарного личностного участия.)

Замкнутость политического пространства для суверена уже в самой себе таила серьезную опасность. Суверенитет как стиль мог существовать только в пределах своей конкретной исторической эпохи. Претензия же сочетать свободу и господство в одном и том же субъекте со временем становилась все более несостоятельной и иллюзорной: исключительность постоянно угрожала изоляцией, а суверенность могла легко превратиться во вседозволенность. Неявные влияния проникали в суверенную сферу, используя разные каналы и силы. Суверенитет еще достаточно долго сопротивлялся этим атакам, демонстрируя свой традиционный консерватизм: не случайно родоначальник теории суверенитета так много внимания уделял изучению демонологии...

### 3. СУВЕРЕНИТЕТ КАК АВТОРИТАРНОСТЬ

Александр Кожев утверждал, что так уж сложилось исторически, что политическая традиция всегда прозябает в форме «романтизма», а революция — в форме «футуризма». «Классицистское» же настоящее вовсе лишено собственного движущего начала, оно безжизненно, а поэтому в истории не существует и буржуазного «классицизма». Властью наделено только реальное присутствие прошлого и будущего в настоящем, так, настоящее есть действие, реализующее в настоящем как воспоминание о прошлом, так и проект будущего. Это — трансформация бытия, произведенная действием: «Любая, основанная на риске деятельность господина только и есть настоящее действие в собственном смысле слова».

«Настоящее (исторического мира) есть метафизическое основание власти господина, и настоящее является в авторитарной форме ровно настолько, насколько оно осуществляется как действие, не останавливающееся перед риском тотального уничтожения бытия, служащего его опорой». Властью господина может стать только власть воина, власть того, кто готов идти на риск, кто способен принять решение, кто не всегда разумен и осторожен. Господство рождается в борьбе насмерть за признание<sup>25</sup>. Будущий господин выдерживает эту проверку борьбы и риска, преодолевая в себе животное начало самосохранения: только тогда он и становится настоящим сувереном. И только нарушая правила политической игры, суверен может придать своим действиям статус героического.

Тот, все существо которого устремлено к господству, глубже всех чувствует границы своей свободы и более всего страдает от своей зависимости; никто не запутывается глубже в зависимостях от других, нежели тот, кто стремится встать на вершине и вступает поэтому в борьбу за власть. Власть «милостью Божьей» — это не просто некая сомнительная государственно-правовая конструкция, которая должна помочь преодолеть смущение, вызванное теорией «народного суверенитета», но эта идея имеет корни в психологии этого типа. Введенная народом власть — это юридическое понятие, выросшее из социально-этических

<sup>24</sup> Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 30.

<sup>25</sup> См.: Кожев А. Понятие власти. М., 2007. С. 29—30, 87, 105.



корней. Однако в психологическом смысле передача власти есть абсолютно невозможное дело: «У нас или есть власть, или ее у нас нет»<sup>26</sup>. В основе же своей она всегда есть изначальное духовное состояние души и только затем продукт данных социологических отношений, сначала суверенность и только потом — суверенитет.

По Гегелю, господин или суверен противопоставляет ужасу смерти смертельный риск, он противопоставляет смерти процесс игры. «Индивидуальное самоутверждение тяжеловесно, оно зиждется на рефлексии и на несчастной серьезности человеческой жизни, и это, по сути, отрицание игры». Суверенное же самоутверждение основано на игре необузданных чувств, таких как соперничество, престиж, нетерпимость к запрету. Для него границы существуют с одной целью — чтобы их нарушали: «Границы придают страсти судорожный порыв», который ведет к жестокости и изощренности. Для суверенности всегда нужно быть в силах нарушать. Хотя суверенный или сакральный мир, противостоящий миру практики, и есть область смерти, но это отнюдь не область слабости<sup>27</sup>: суверен рыцарственно играет со смертью как настоящий господин жизни.

По словам Томаса Манна, «ничто не пресыщает благородный дух больше и окончательно, чем пряная и горькая прелесть познания». Но область суверенного всегда располагается по ту сторону пользы, поскольку в основе суверенного лежит чудесное: сакральное глубоко отличается от природной данности, которая уже изначально отрицается «деятельностью по производству вещей», и в этом смысле сакральное есть сама природная зависимость. Вторгаясь в порядок вещей и заменяя хаосом концепцию индивида как части космического порядка, смерть представляет собой тот облик, который принимает природная данность как целое: ведь это тоже природа, но такая, которую мы так и не смогли победить. «Суверен — это человек, который есть, как если бы смерти не было». Он — образ высокой игры, и поэтому даже казнь царя — это, по сути, величайшее утверждение суверенности: ведь царь не может умереть, смерть для него ничто, она отри-

цается самим фактом его присутствия, его присутствие отменяет ее даже в самой смерти, ее отменяет даже сама его смерть.

Ничто суверенное никогда не должно подчиняться обыденной пользе. Поэтому все великие человеческие дела «имели окончательной целью то начало чудесного, которое освещает бытие, преображает его и придает ему вместо вещественной скудности ту царственную подлинность, что никогда не сможет быть измерена униженным трудом»<sup>28</sup>. Суверен господствует, но не служит.

Политические нападки сословий и включение масс в политический процесс вынуждали суверена к маневрам и уступкам. Границы суверенитета становились проницаемыми, а его пространство сокращалось. Городские восстания, религиозные войны и «фронды» угрожали французской короне последствиями, которые уже имели место в Англии. Эпоха суверенитета должна была закончиться...

«Авторитет царской власти, особенно в лихорадочно-беспокойное революционное время, перестает быть бесспорным... Никогда прежде суверенная цель, которую эта власть должна воплощать в глазах подданных, не превращалась столь скандальным образом в средство, даже для того, кого она якобы преображает». Король некогда получал свои prerogatives как собственность и имущество, которыми он мог пользоваться в своих личных целях, иначе он не был бы и сувереном: нельзя рассматривать монарший статус как должность, поскольку функция этой власти заключалась прежде всего в том, чтобы отвечать потребностям толпы в созерцании великолепия. Царское достоинство всегда было самоцелью, но не средством. Более того, «только в смерти оно и обретало в глазах всех то безусловное обаяние, которое и отличало суверенную цель от рабских средств»<sup>29</sup>.

Суверен получает свою власть в борьбе и в ситуации риска, но не в прозаической и нудной работе. Для этого особенно важен только один миг, мгновение, преобразующее действительность: юрист назовет это установлением чрезвычайного положения, теолог — чудом.

<sup>26</sup> Шпрангер Э. *Формы жизни: гуманитарная психология и этика личности*. М., 2014. С. 197.

<sup>27</sup> См.: Батай Ж. Указ. соч. С. 332.

<sup>28</sup> Батай Ж. Указ. соч. С. 332—335.

<sup>29</sup> Батай Ж. Указ. соч. С. 404—405.

Суверенитет означает пространство, над которым непременно осуществляется, латентно или открыто, насилие, а значит, это пространство, сложившееся и утвердившееся посредством насилия. Любое государство рождается из насилия, а власть сохраняется посредством насилия, осуществляемого над данным пространством: именно в пространстве центральная власть возносится над любой другой властью и отменяет ее<sup>30</sup>.

Когда суверенность влечет за собой власть, такой диктат суверенности означает конец самой власти: как только чистая власть освобождается от компромиссов, а именно больше «не пытается корчить из себя суверенность», все происходит так, словно отрицание суверенности в каком-то смысле становится идентичным самой суверенности: из объективности власти проистекает отмена суверенитета. При сохранении же элемента субъективности у самой власти — стремления к высокому положению — сохраняется и суверенность. Законченная же объективность оказывается наравне с суверенностью и готова ее уничтожить. Суверенность тогда вполне может быть заменена объективностью власти, в метафизике это сопровождается установлением приоритета анонимного над личностным, а в правовой сфере — публичного над частным. Кажется, что власть также относится к суверенности, как потенциальная энергия к возможной вспышке света: «Но поскольку власть является человеческой, она есть отказ от суверенности; точно так же человек, решивший не зажигать лампу, отказывается от света. Как тот, кто владеет вещами и обслуживает, развивает их, обладая все возрастающей властью, не пользуется ею. В принципе он располагает суверенностью, но заменяет ее объективностью власти»<sup>31</sup>.

В праве и политической философии как среднем и промежуточном звене, связующем «величие власти и состояние подчиненности, между фигурой господина и раба, выступают действия, из которых власть выводит свою легитимацию». Как правило, язык власти подменяет смысл слов; он именует миром оттягивание войны, наведение порядка — подавление волнений; власть прославляет свою

социальную политику, раздавая жалкие подачки и говоря о справедливости, безжалостно применяет суровые законы<sup>32</sup>.

Суверенитет не желает знать внешних (для своей власти) границ. Подобно монаде Лейбница, он закрыт для внешних воздействий, но всегда готов к расширению изнутри. Поэтому суверенитет часто представляется как абсолютизм и абсолютная власть, его авторитарность выражена в односторонней направленности господствующей воли. Независимость отнюдь не мешает экспансии, осуществляет ее личность или корпорация (государство).

Но нигде и никогда абсолютизму так и не удалось стать абсолютным. Не только ограниченный английский или «княжеский» германский, но и «классический» французский абсолютизм всегда испытывал чувствительные ограничения со стороны сословий и бюрократии. Суверенитет казался немыслимым без самоограничения, и для этого закон оказывался оптимальным средством. Законодатель еще задолго до появления «правового государства» обретал образ «земного бога», гоббсовский Левиафан становился выше суверена, располагаясь ближе к небесам, что значительно облегчило последующий переход от восприятия персонифицированного суверена к коллективному: выше законодательного государства был только Бог.

В процессе трансформации личного в коллективное совершалась «мистерия министералов», о которой толковали еще схоласты. Суверенность затвердевала в статусном суверенитете, теперь уже одинаково неразличимом, будь то индивид или коллективность. Объективность власти оттеснила суверенность, объективный закон заменял личностную волю. Игры власти и суверенности завершались неподвижностью статусов.

Отказываясь от своей личной суверенности в пользу суверена, люди идентифицировали себя с ним, перенося на него свою собственную суверенность, которой пожертвовали. Возможно, ее созерцание, но уже в персоне суверена, доставляло им почти религиозный восторг, который, как кажется, и был их целью. Если же они были уверены, что «якобы царская суверенность принадлежит им самим, является их

<sup>30</sup> См.: Лефевр А. Построение пространства. М., 2015. С. 273—274.

<sup>31</sup> Батай Ж. Указ. соч. С. 429—432.

<sup>32</sup> Слотердаик П. Критика цинического разума. С. 263.

собственной суверенностью, то тогда они могли отказаться от нее иначе — вполне суверенно, — не завещая никому другому достояние, которое представлялось им неотчуждаемым». В этом случае свою действительную суверенность они вкладывали в свой отказ: «Человек, воплощающий в их глазах достоинство всех остальных, может делать это постольку, поскольку он обозначает собой их собственную субъективность. Могуущественный король в силу имеющегося у него потенциала объективной власти, конечно же, обладал более обширной сферой свободы и принятия решений, чем любой из его подданных. Однако свободным и независимым он не мог быть назван: «Каждый поступок властителя, в силу его обращенности на других людей... ставит одновременно властителя в зависимость от подвластных ему людей», ведь они могут по-разному реагировать на его акции<sup>33</sup>.

Идея «народного суверенитета» с этой точки зрения представляется принципиально несостоятельной: народ не может быть одновременно и сувереном, и подвластным объектом, а «народный суверенитет» как раз и нацелен на легитимацию политической власти путем поиска и усмотрения ее истоков в самом же народе. Уже Гизо находил отсутствие какой-либо логики в понятии народного суверенитета: «Что это за теория, где есть суверен, который не только не правит, но подчиняется; и правительство, которое распоряжается, но само есть суверен?» Известно, что политическая власть ведет свое происхождение не от представляемого народа и не от представителя, она происходит из самого процесса репрезентации, она — своеобразный квазиестественный феномен.

В миметической репрезентации делается очередная стоицистская попытка вновь идейно соединить государство с обществом, в результате чего государство стремится сделать копию общества, на практике порождая густую смесь абсолютизма, консерватизма и бюрократии: бюрократия тогда становится инструментом государства, призванным максимально затушевать «эстетические различия между ним самим и обществом». Миметическая ре-

презентация тем самым позволяет государству как бы сделаться невидимым, затемнить объектом и природу политической власти и тем самым усилить контроль<sup>34</sup>.

«Ярким атрибутом верховной власти является право утверждения и отмены законов, объявление войны и мира, принятие окончательного решения по спорным вопросам, наконец, власть над жизнью и смертью, право миловать и награждать»<sup>35</sup> (Ж. Боден). В свое время Аристотель так и не дал четкого определения суверенитета как такового, он описал только порядок управления государством, который, как и его форма, определяется правовыми положениями и носителем верховной власти. Власть находит свое выражение в решениях, приказах и наказаниях, однако как раз эта совокупность прерогатив и порождает сам суверенитет как некую целостность, которая воплощает величественность и могущество государства. И такая совокупность кажется более значимой, чем официальный статус: суверен уже сам по себе есть властитель и государь. (Суверен — будь то индивидуум или корпорация — всегда царствовал не в силу делегации права, а в силу некоего личного права: он управлял не общественными, а своими собственными делами: отношение сеньора к подданным управляется законом «благорасположения и справедливости, ведь целью политического общества является сама жизнь» (Луи де Галльер). Так теория «независимых сеньорий», когда-то развитая теократической школой, описывала суверенитет — как органическое многообразие малых «сеньорий», цепью протянувшихся от семьи до государства<sup>36</sup>.)

Для суверена закон — гарантия обеспечения (пусть и ограничения) внутренней независимости или суверенности; власть же — инструмент для удержания (расширения) границ. Такое сочетание свободы и господства в одном субъекте кажется задачей о квадратуре круга, и тем не менее суверенитет брался разрешить эту задачу. Но в результате понятием суверенитета оказалась отмечена только некая точка неразличимости в пространстве между насилием и правом, природой и логосом, правдой и неправдой, оно подразумевает не атрибут или

<sup>33</sup> Элиас Н. Указ. соч. С. 179.

<sup>34</sup> Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 75—76.

<sup>35</sup> Боден Ж. Указ. соч. С. 137.

<sup>36</sup> См.: Мишель А. Идея государства. М., 2008. С. 127—128.

орган в юридическом или государственном распорядке, а саму их изначальную структуру. «Суверенитет — это идея о существовании неразрешимого узла между насилием и правом, и этот узел должен обязательно обладать парадоксальной формой решения о чрезвычайном положении или о запрете, при которых закон поддерживает свою связь с жизнью, удаляясь от нее, запрещая и оставляя ее на произвол собственного насилия и собственной бессвязности»<sup>37</sup>.

#### 4. СУВЕРЕНИТЕТ КАК ДИСТАНЦИРОВАННОСТЬ И НАСИЛИЕ

Царская власть предусмотрительно осуществляла разделение профанного и сакрального в пространстве: тем самым царское достоинство отдалялось от масс, в ментальность которых категория социального положения, зависевшая от степени приближенности к власти, явно вносила свою пространственную иерархию, в которой преобладали заблуждения, ложь и пошлость: отличия здесь образовывались примитивной игрой самих «вещей» — должностей, интриг и грубой силы. «Порядок же царской власти суверенен сам по себе, он проявляется в мгновении... Сама образующая его прихоть превращается в величие»<sup>38</sup>.

Суверенитет не создается, он возникает. Это — качество, которое либо есть, либо его нет, и здесь следует избегать количественной оценки. Независимость не может измеряться исчислением, говорить о нарастании или уменьшении суверенности предпочитает тот, кто хотел бы ее вообще уничтожить. Отсюда и вся сложность диалектической взаимозависимости между суверенностью и властью: «Извечное свойство суверенности состоит в ее странности и неуловимости, что делает ее одновременно неизбежной и невозможной» (Ж. Батай); рациональное познание прекращается, когда его объектом оказывается суверенность. Поскольку познание — это всегда приложение известных усилий, труда, «рабская операция», возобновляемая и повторяемая, постольку познание никогда не бывает суверенным, иначе оно должно было бы осуществляться мгновенно. Познание

же всегда дается нам целиком лишь как конечная цель некоего расчетливо развернутого усилия, целесообразной операции, оно не совпадает только с последним моментом или конечной целью операции.

Желание видеть, как суверенность безгранично проявляет себя в одной точке — в ожидании, молчании и трепете подданных, становится порой столь сильным, что эти последние уже не понимают, что сами они и сообщают царю ту самую силу, на которую должны были бы претендовать они и от которой не должны были бы отказываться, ведь иногда так «важно не быть самому суверенным, а сделать так, чтобы твоя суверенность все-таки существовала и наполняла собой мир»<sup>39</sup>.

Петер Слотердайк говорил о Батае, что тот непременно хотел преодолеть монологический суверенитет, пытаясь уйти от суверенитета только мышления к суверенитету бытия. «Освобождение от престижного места в центре — не столь уж важно, а освобождение Земли или субъекта идет только на пользу реальному человеку, и лишь защитники тех систем иллюзий, которые господствуют ныне, противятся такому повороту событий». Люди Нового времени были оскорблены в своем нарциссизме отнюдь не лишением их центрального положения в космосе, а постоянной экспансией в него механического начала, все более и более умалявшего иллюзию существования душ и представления человека о собственном величии и суверенности.

Суверенитет полагает быть вечным состоянием и поэтому не считается со временем. Его существование проходит в пространстве: расширяясь или сужаясь, он стремится к его преодолению и покорению. Пространство суверенитета и есть, по сути, суверенитет, даже если это пространство сведено в точку. В любом случае из центральной точки осуществляется покорение пространства. В политико-правовой интерпретации эта идея есть идея империи.

Империи — вот те образования, которые были спроектированы под влиянием фантазии, что будто бы управляющая середина — центр способна беспрепятственно пронизывать, пронизать пространство. Это — пространство «лучевой власти», и его центр всегда описывается

<sup>37</sup> Агамбен Дж. Средства без цели. М., 2015. С. 113—114.

<sup>38</sup> Батай Ж. Указ. соч. С. 353.

<sup>39</sup> Батай Ж. Указ. соч. С. 318, 378.



как Солнце: «В истории символов власти, испускавших лучи, — от солнечных рук фараона Эхнатона и до знаков власти Людовика XIV, — везде просматриваются короли-солнца, которые вершат свои дела, пытаясь пронизывать подвластные им пространства»<sup>40</sup>.

Покоряя пространство, суверен, не отделяющий себя от государства, наталкивается на отделившееся общество. Величие встречает на своем пути аморфную обыденность. Власть, если желает быть эффективной, должна встать над обществом. Государство не является отражением общества, как предполагает миметическая теория, государство создает искусственный (от понятия «государство — произведение искусства») разрыв между собой и обществом, освещая его своим величием и искусственностью: суверен выступает здесь как художник, который строит и общество тоже. «С точки зрения короля, расположившегося в самом центре государственного тела, различие между государством и обществом представляло скорее академический интерес: со своей точки зрения он первым делом замечает только государство, которое сам же создал вокруг самого себя... Границы власти абсолютного короля не были четкими и на практике определялись традицией, историческим прецедентом и, что еще важнее, всеми теми ограничениями, наложенными на власть короля, которые были унаследованы от феодализма (где разорванность политической реальности... обнаружила себя именно перед абсолютным монархом)»<sup>41</sup>.

Расстояние, разрыв, зазор, дистанция между сувереном и подданными всегда остаются главной пространственной характеристикой суверенной власти. Страсть и инстинкт смерти всегда оказывали решающее воздействие на общество в целом, действуя за границей рационального, и этим обеспечивался перманентный разрыв и конфликт: «Между государствами с искусственными границами и повседневной жизнью людей существует еще много неискренности, тревоги и возможностей. Еще ничто реально не затвердело» (Денни де Ружмон)<sup>42</sup>. Дистанцированность власти постепенно менялась в сторону увеличения. (Как заметил Норберт Элиас, исчезновение потреб-

ности дворянства в обособлении было бы равнозначно его уничтожению. И это стремление вполне удовлетворяло и потребности королевского господства, поскольку желание элиты соблюсти дистанцию было тем самым уязвимым местом, которым всегда мог воспользоваться суверен, чтобы подчинить себе дворянство: об этом свидетельствуют все системы сословного законодательства XVII—XVIII веков. Дистанцирование для придворной знати становилось самоцелью. Тем же оно было и для короля, т.к. он безусловно считал себя и свое существование главным смыслом государства: король амбициозно занял место государства<sup>43</sup>.) Между возбуждением духа, созидаящим сакральные формы, и властью, консервирующей всякое изменение, в том числе и «то отчуждение, которое саму эту власть учреждает», наблюдалась перманентная борьба. Всякое изменение положения суверена неизбежно осуществлялось в пользу самого института власти: вокруг личности короля происходила концентрация предметов, действий и лиц, прежде всего вооруженной силы.

Политике требуется нечто для нее внешнее, т.е. общество, так же и для того, чтобы познать и определить самую себя, требуется неременный разрыв отношения «близкого и далекого»: так, романтическая ирония Фридриха Шлегеля связывала то, что «близко к нам и далеко от нас»; гегелевская концепция реальности даже требовала, чтобы мы «имитировали этот режим близкого и далекого», тогда как ирония Шлегеля стремилась его дестабилизировать, чтобы дать свободу «движения по воображаемой линии», связывающей близкое и далекое.

Когда же в области зазора, образованного между правителем и управляемыми, вырастает бюрократия, вот тогда прежде близкое становится далеким, а далекое близким: «Понятие “народного суверенитета” способствовало этому смешению... и если сегодня мы верим в странную выдумку, будто правит народ (хотя на самом деле он подчиняется), а правительство подчиняется (хотя на самом деле оно правит), то уже один этот факт создает фон, на котором становится возможной любая перспектива далекого и близкого. Устойчивость, достоверность,

<sup>40</sup> Слотердаик П. Солнце и смерть. СПб., 2015. С. 286—287, 333.

<sup>41</sup> Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 239.

<sup>42</sup> См.: Коллеж социологии. СПб., 2004. С. 290.

<sup>43</sup> Элиас Н. Указ. соч. С. 146—147.

опознаваемые точки гегелевского режима политики тогда выходят на «скользящую шкалу». Неизвестное и далекое становится известным и близким, весь мир как бы сжимается (Ф. Анкерсмит).

Легитимная политическая власть предполагает некое «эстетическое» разделение, или качественную разделенность государства и общества, и «эстетический зазор» между репрезентируемым и его репрезентацией формально обусловил и закрепил эти разрывы и напряжения. (Клод Лефор ввел понятие эстетического зазора, понимая под ним только пустое и свободное место, однако в эстетической репрезентации Анкерсмита эта уже креативная пустота оказывается в промежутке между избираемым и избранным лицом, гражданином и государством, образуя тем самым настоящее ядро демократии<sup>44</sup>.) Как кажется, именно Макиавелли первым дал обоснование тезиса о необходимой разорванности политической реальности, разорванности, посредством которой обеспечивается работа всего политического механизма. Легитимная власть может возникнуть только в ситуации, где различие между государством и обществом, представителем и представляемым максимально отчетливо, а нелегитимная власть, напротив, порождается их слиянием и исчезновением зазора, желанием представителя «отождествиться» с представляемым: общество без конфликта, где гармония и спокойствие — действительные идеалы, невозможно, и власть должна отправляться так, чтобы не успокаивать, а, наоборот, эффективно политизировать народ, однако избегая опасностей «народного суверенитета».

Бенжамен Констан, развивая идею, «погружает государство в перманентный политический конфликт», что выразилось в его нетрадиционном определении природы власти короля, которую он называл «нейтральной властью» и считал четвертой властью, дополнявшей три, упомянутых Монтескье: ее задача заключалась в сохранении баланса между этими тремя властями, — «царствуя, но не правя». В центре государства, который «народ доверчиво воображает истинным сердцем и основанием политического порядка», Констан изобразил только пустоту, нейтральный фон, на котором

могли бы разворачиваться политические споры и складываться реальный баланс сил: монарх в этой ситуации занимал бы положение, сравнимое с «точкой неразрешимости», вокруг которой организуется политическая власть<sup>45</sup>.

Политическая реальность, создаваемая эстетической репрезентацией, и есть, по существу, политическая власть; эстетическое различие или зазор между представляемым лицом и представителем оказывается источником легитимной политической власти, у которой наблюдается скорее эстетическая, чем этическая природа. Репрезентация власти уступает место презентации величия, сосредоточенного в суверене.

Отчасти поэтому абсолютная и конституционная власти всегда мирно уживались в рамках одной системы. Королевская власть была одновременно абсолютной и ограниченной, поскольку сами эти понятия относились лишь к различным областям деятельности государя, ведь его народ состоял из подданных, и если король использовал свои prerogatives, то он повелевал, а они подчинялись; но так как они были еще и членами сословных представительств и корпораций, они являлись гражданами, оберегавшими свои права и принимавшими участие в государственных делах. Абсолютная власть и права подданных находились в равновесии, но иногда между ними происходили трения: если абсолютная власть выходила за рамки своей области и ущемляла права и свободы подданных, она превращалась в деспотию; если верх одерживали институты, защищавшие права народа, начиналось противоправное республиканское правление. Но существовала только одна разновидность легитимного королевского правления — монархия. «Между монархией ограниченной и абсолютной, которые были двумя аспектами одного явления, особой разницы не усматривали: идеология абсолютизма была просто идеологией монархии, абсолютизм пространственно располагался где-то между монархией и деспотией»<sup>46</sup>. (Если тирания и есть «правление, не обязанное отчитываться о себе», то бюрократия как «правление никого» малодушно скрывает своих агентов, которые могли бы быть подотчетными (Хана Арендт).)

<sup>44</sup> Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 280—281.

<sup>45</sup> См.: Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 173—174.

<sup>46</sup> См.: Хеншелл Н. Указ. соч. С. 158—159.

Стоицизм, как синтезирующее и глобалистское мировоззрение, всегда стремился к непрерывности, гладкости, линейности, размыванию контуров. Он всегда болезненно воспринимал разрывы, разломы, трения и пустоты как личный вызов, и это стимулировало рост правительственной бюрократии, которая обнаруживалась в этой пустоте, возникая в пространстве между представляемым (индивидом) и представителем (государством): «Бюрократия — это конкретная институциональная форма стоицистского *tertium*, то, где они материализуются и институционализируются». И бюрократия стремится к подобной непрерывности, а разломы, противоположности и конфликты — все, что составляет суть политики, — вытесняются ею на обочину: для Гоббса государство было институтом, благодаря которому становятся сопоставимыми и соизмеримыми все индивиды. (В политической сфере *tertium* породили неустрашимую поляризацию между тотальной революцией и микрополитикой. Революция и бюрократия стали представляться единственными альтернативами для осуществления идеи содержательного и истинного политического действия: когда все становится сравнимым, проблемы, решения и политическое действие растворяются в одном непреодолимом хаосе<sup>47</sup>.)

У Гоббса «естественное состояние» все еще сохранялось в фигуре суверена, который единственный не утрачивал его в коллективном акте общественного договора, Гоббс представляет его как предел неразличимости, проложенный между насилием и законом, и делает его истоком особого вида насилия — суверенного. Естественное состояние для Гоббса — это внутренний принцип государства, ядро политической системы, и, как исключение, оно дает жизнь правилу<sup>48</sup>. Колебания между учреждающим и учредительным насилием в результате завершаются ослаблением созидательного насилия, т.к. поддерживающее насилие подавляет все противоборствующие ему силы: это продолжается до тех пор, пока «новые силы не возьмут верх над насилием, которое вплоть до этого момента утверждало свое право и тем самым основывают новое право». На прерывании этого цикла, который разворачивается в сфере мифических сил права, «на свержении

государства и основывается новая историческая эпоха» (В. Беньямин): это есть революция или ситуация чрезвычайного положения.

Суверен — единоличный или коллективный — олицетворяет, репрезентует историю. В полемических столкновениях с юридическими учениями Средневековья в XVII веке было сформулировано новое понятие суверенитета. Если современное понятие суверенитета сводится к высшей монаршей исполнительной власти, то барочное понятие развивалось как раз из дискуссии о чрезвычайном положении и сделало важнейшей функцией монарха именно предотвращение этого положения: «Находящийся у власти уже заранее предназначен быть носителем диктаторской власти в чрезвычайном положении, вызванном войной, мятежом или иными катастрофами. Это была по своей сути контрреформаторская установка», — полагал Вальтер Беньямин.

В теологически-юридическом складе мышления XVII века проявилось затянувшееся «очевидное перенапряжение трансцендентности», лежащее в основе всех провокационных посясторионных акцентов барокко. Антитезой исторического идеала Реставрации поэтому стала идея катастрофы, именно она и сформировала теорию чрезвычайного положения, господствовавшую в «естественном праве» XVII века: барочный натурализм — это нестоящее искусство мельчайших интервалов, но такие натуралистические средства только служили «сокращению дистанции»<sup>49</sup>.

Карл Шмитт, описывая связь между локализацией и порядком (в которой заключена суть «номоса Земли»), предположил наличие некоей зоны, исключенной из права и очерчивающей «свободное и юридически пустое пространство», в котором суверенная власть не знает каких-либо ограничений, установленных номосом как исконным территориальным порядком: это — пустое пространство с очерченными границами, в котором приостановлено действие всякого права. И семантическая связь «локализация — порядок» внутри себя уже содержит возможность своего собственного разрыва в форме приостановки действия всякого права: внешнее и внутреннее здесь совпадают, а суверен в этой ситуации может осуществлять

<sup>47</sup> Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 112—113, 122.

<sup>48</sup> Агамбен Дж. Номос sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011. С. 50—51.

<sup>49</sup> Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002. С. 51—53.

все, что считает фактически необходимым. И тогда чрезвычайное положение становится всеобщим и совпадает с «нормальным» порядком.

Но если само исключение является структурой суверенной власти, то тогда суверенная власть уже не представляется ни исключительно политическим понятием, ни исключительно юридической категорией, ни силой, внешней по отношению к праву (Шмитт), ни высшей нормой правового порядка (Кельзен), — она оказывается «первоначальной структурой, в которой право соотносится с жизнью и включает ее внутрь себя в этом самом акте приостановки собственного действия». Отношение исключения выступает здесь как отношение отвержения: это трагическое состояние покинутости законом, оставление незащищенным на пороге, открытости опасности, когда смешиваются жизнь и право, внешнее и внутреннее (Агамбен)<sup>50</sup>.

Суверен в своем одиночестве (даже коллективном) являет пример исключительности. Его принципиальная оторванность от массы оставляет его одиноким и в правовом пространстве. «Суверену закон не писан», сама его власть делает его изгоем. Он остается в области «естественного состояния», из которой власть воздействует на область, где осуществляется правовое регулирование.

Связанная с насилием учредительная власть находится как бы вне государства и ничем ему не обязана, учреждающая же власть существует только внутри самого государства и неотделима от заданного конституционного порядка. Поэтому конституция и предлагает себя в качестве учредительной власти, суверенная же власть в этом случае только предпосылается и в самой этой предпосылке выступает как естественное состояние, связанное с правовым состоянием лишь отношением отверженности. Тем самым она расщепляется на учредительную и учрежденную власть, оказываясь в точке их расщепления.

Карл Шмитт определяет учредительную власть как политическую волю, стоящую над любой конституциональной процедурой, несводимую на уровень нормы и отличную от суверенной власти: эта власть является только

актом выбора, но не институцией учрежденной власти и не суверенной властью, являющейся только пределом свободы для власти учредительной<sup>51</sup>. Здесь реальность корректируется действительностью как форма бытием.

(У Шмитта и Бенямина понятию вины, понимаемой исключительно юридически, для того, чтобы «преодолеть состояние демонического существования, остатком которого является право», вины, которая есть «вписывание естественной жизни в порядок права и судьбы», противостоит не свобода этического человека, а сдерживаемая сила суверенной власти<sup>52</sup>.)

Суверен декларирует свою исключительную способность различать закон и природу, однако на практике постоянно их смешивает, делая неразличимыми. До тех пор пока чрезвычайное положение отличается от «нормального» состояния, диалектика, связывающая насилие, учреждающее право, и насилие, которое его сохраняет, еще не сломана... Суверенное насилие учреждает право, т.к. оно утверждает законность действия, которое в противном случае было бы незаконным, и вместе с тем поддерживает его, т.к. содержанием нового права является лишь поддержание старого.

Вальтер Бенямин в этой связи полагал, что функция насилия в возникновении права двойная, поскольку право прибегает к насилию для достижения некоей цели, которая становится таким образом правовой. (При этом голое насилие превращается в насилие, порождающее право, «поскольку в качестве права утверждается именно то, что уже изначально было отмечено насилием, а не является какой-то трансцендентной целью, существующей вне и помимо него»<sup>53</sup>.)

Агамбен же предлагает вообще полностью переосмыслить само понятие суверенитета и конститутивной власти, все еще остающиеся в центре политической традиции. Этими понятиями давно была отмечена некая «точка неразличимости» между насилием и правом, правдой и неправдой. Они подразумевают не атрибут или орган в юридическом или государственном распорядке, а саму их изначальную структуру: «Суверенитет — это идея о существовании неразрешимого узла между насилием

<sup>50</sup> Агамбен Дж. Homo sacer. С. 40—41, 53.

<sup>51</sup> См.: Указ. соч. С. 58—60.

<sup>52</sup> См.: Указ. соч. С. 40.

<sup>53</sup> Цит. по: Агамбен Дж. Homo sacer. С. 87.



и правом», причем этот узел должен обязательно обладать парадоксальной формой решения о чрезвычайном положении или о запрете, при которых закон поддерживает свою связь с жизнью, одновременно удаляясь от нее, запрещая и оставляя ее на произвол собственного насилия и собственной бессвязности. «Суверенитет — это только охранник, препятствующий выходу на свет неразрешимого порога между насилием и правом»<sup>54</sup>: «голая жизнь» при этом становилась носительницей пресловутого суверенного узла, хотя сама же она и оказывалась оставленной на тяжкий произвол «анонимного и тупого повседневного насилия».

## 5. «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКОН»

По мнению Боссюэ, законотворчество вовсе не было более важной прерогативой суверена, чем другие прерогативы (в военной сфере, судебной и пр.): концепция сбалансированной конституции уже предполагала наличие гармонии между сувереном и подданными. Такая гармония в государстве как политическом организме по аналогии отражала гармонию, царившую в микрокосме и макрокосме (среди небесных тел и музыки сфер). «Большинство политических режимов основывались на теории, отдававшей должное и верховной власти короля, и правам народа. Абсолютная и ограниченная (смешанная) власти не являлись альтернативой друг другу, они представляли собой лишь две стороны одной и той же политической системы.

Хотя теоретически законодательная власть и была неделимой и принадлежала государству, в процессе реальной организации управления она разделялась и распределялась самыми различными способами и по разным направлениям. Монарх вполне мог править, используя поочередно или одновременно аристократические и представительные формы и элементы; сам же монарх обладал сразу двумя видами власти: той, которую он делил с парламентом, и той, которая принадлежала только ему, — в первом случае он принимал законы и устанавливал налоги, во втором — пользовался традиционными королевскими прерогативами<sup>55</sup>.

Средневековое законодательство по своей форме сводилось преимущественно к подтверждению уже реально существующих в обществе обычаев. Публичная власть имела рассредоточенный характер и смешение правительственных функций как вполне нормальное состояние сохранялось вплоть до XVIII века. Но уже более ранняя рецепция римского права, проведенная в конце XIV века, поспособствовала пересмотру подобного отношения к закону, и древнее утверждение Ульпиана о том, что «решение государя имеет силу закона в той степени, в какой особым указом, касающимся его правления, народ сообщил ему и возложил на него полноту управления и власти», сделалось базовым правовым принципом нарождающегося абсолютизма. Постепенно формировалось представление о том, что внутри сообщества, в народе или персоне государя была заключена верховная воля, т.е. сама сущность государственности, а законотворчество есть не более чем внешнее выражение государственной власти. Верховная власть внутри государства уже не должна была подчиняться более высокой власти вне рамок его *imperium*<sup>56</sup>: именно с XVIII века короли, бывшие до этого вассальными подданными Папы и императора, смогли претендовать на *imperium*, или имперскую власть, делавшую их политически равными императору, который никому, кроме Бога, не подчинялся.

Осознание того, что закон может быть предписан и санкционирован сам законодателем, а не только бережно сохранен в обычае и традиции, было связано, безусловно, с дальнейшим развитием абсолютистских идеологий и тенденций: еще у Бодена наметилось серьезное противоречие, которое заключалось в том предположении, что поскольку суверен творит закон самостоятельно, сам он вовсе не обязан его исполнять, ведь по логике верховная власть не может подчиняться сама себе, а суверен подчинен только законам Бога и природы. Но, утверждая это, Боден все же наделяет суверена необходимой законодательной властью и при этом подчеркивает: если эта власть не подлежит разделению, значит, и реализуется она без чьего-то одобрения<sup>57</sup>, то есть суверенно.

<sup>54</sup> Агамбен Дж. Средства без цели. С. 113—114.

<sup>55</sup> См.: Хеншелл Н. Указ. соч. С. 146—148.

<sup>56</sup> См.: Хеншелл Н. Указ. соч. С. 142—143.

Когда представителям суверена приходится решать проблему власти и права, они приступают к этому, начиная с весьма ритуализованного действия, подчиненного самым жестким правилам, — расследования. В рамках розыскного процесса представитель власти созывал людей, «присяжных», признанных ведающими нравы, право и имущественные права. Это был специфический, но вполне рациональный способ установления истины, полностью подчиненный технике административного управления. И, по сути, позднее средневековое европейское расследование представляло собой настоящий, пусть специфический, процесс управления, метод администрирования, особый способ осуществления власти. Внедрение в судебную практику технологии «расследования», заменившего собой приемы и категории, связанные с «ущербом» и «оскорблением», которые были главными мотивациями состязательного судопроизводства, означало появление также нового понятия «правонарушение». Объектом покушения теперь становились государство, закон и сама власть: «ущемление суверена и совершение греха здесь представляются смыкающимися действиями»<sup>57</sup>. («Расследование» — это, по сути, настоящая политическая форма, форма управления, осуществление власти, ставшая способом верификации истины, усвоение того, что будет считаться истинным, а также способом передачи истинного: «расследование» есть форма «знания-власти» (Мишель Фуко)).

Состязательность исчезала, когда одной из сторон в процессе оказывалось государство. Усиление публичного элемента и его экспансии в частноправовую сферу означали укрепление суверенитета как правового режима. Для абсолютизма весьма характерным было вмешательство и регламентирование максимально большого числа частных отношений и связей. Власть в лице законодателя (и в еще большей степени в лице администратора) вторгалась в сферу частной жизни, демонстрируя свою отдаленность и приоритетность по отношению к обществу. Суверенный законодатель приватизировал территорию существования права.

Но даже самым могущественным монархам всегда требовались дееспособные парламенты и адекватные сословные представительства. Даже Людовик XIV отнюдь не претендовал на исключительное право издавать законы по собственному желанию, без консультаций с каким-либо высоким органом власти. Его прерогатива состояла в праве инициировать законодательство, и королевские юристы хорошо это понимали: «Законы не имеют силы, не став публичными». Критически анализируя королевские законы и подтверждая их соответствие действующему праву, юристы тем самым ограничивали монархию и регулировали ее действия. «Смыслом и отличительной характеристикой монархии была не передача власти по наследству (королей могли ведь и избирать), а контроль над политикой, осуществляемый одним человеком... Все прочие виды монархии не были достойны этого названия. Выражение “король правит сам” было одним из многих девизов Людовика XIV»<sup>58</sup>.

Сословные же представительства являли собой республиканский компонент монархической системы: «Подданные верят, что прерогативу суверена следует считать по меньшей мере священной и неприкосновенной... хотя бы потому, что без должного разделения власти он не сумеет их защитить» (Дж. Свифт).

Фактором напряженности становилось досадное противоречие между предполагаемой правотой и объективной законностью; и некогда Эрнст Готский высказался по этому поводу: «Хороший монарх не то считает правым, что законно, а то законным, что справедливо». И парадокс суверенной власти обусловлен тем, что «суверен в одно и то же время находится и внутри, и за пределами правовой системы: обладая законной властью, он может приостанавливать действие закона, тем самым ставя себя самого вне закона, а суверенное решение о чрезвычайном положении как раз и является той первоначальной политико-правовой структурой, лишь начиная с которой то, что включено в порядок, и то, что исключено из него, приобретает свой смысл». Чрезвычайное положение в своей архетипической форме является первоисточником любой правовой локализации, поскольку открывает простран-

<sup>57</sup> См.: Хеншелл Н. Указ. соч. С. 146.

<sup>58</sup> Фуко М. Истина и правовое установление // Интеллектуалы и власть. М., 2005. Ч. 2. С. 96—97.

<sup>59</sup> См.: Хеншелл Н. Указ. соч. С. 195.

ство, в котором установление некоего порядка и определенной территории впервые становится возможным<sup>60</sup>.

У греков номос в качестве территориального порядка удачно соединял в себе справедливость и насилие, а суверен (у Пиндара, например) тем самым превращался в точку неразличения насилия и права, само же право легко обращалось в насилие. Романтики с симпатией поддерживали такое мнение: у Гёльдерлина номос в своем первоначальном смысле становится «чистой неопределенностью законной силы», не опосредованной никаким законом, историческим событием, или актом законности, которая только и придает некоторую осмысленность действенности нового закона. Суверенное исключение в такой трактовке оформляется как зона неразличимости между природой и правом, становится парадоксальным допущением правового отношения в негативной форме его приостановки: в каждую норму, которая что-либо предписывает или запрещает, вписывается в качестве предполагаемого исключения «чистая и не подпадающая под санкции фигура конкретного случая, которая в самой же норме разрешает ее нарушение»<sup>61</sup>.

Это происходит потому, что норма нуждается в усредненной «нормальной» однородной ситуации. Не существует норм, применимых к хаосу, — сначала должен быть установлен соответствующий порядок и только тогда правовая система будет иметь смысл. Каждое право является правом, применимым к ситуации, суверен же создает и гарантирует такую ситуацию как целое в ее полноте, сам обладая монополией последнего решения: в этом и заключена сущность государственной суверенной власти. (Нормы не перестают быть нормами, «даже если у нас есть все основания отвергать их», нормы и ценности необходимы, поскольку они служат своего рода «картой, по которой мы определяем местоположение самих себя, свои желания и потребности. Лишившись норм, мы потеряем способность действовать. По нормам мы моделируем свои действия и их последствия, они делают действия предсказуемыми» (Карл Шмитт). Именно внешнее поведение, а не субъективные убеждения и

мнения, оказывается здесь решающим. Статуты, инструкции и законы не служат правилами поведения граждан, скорее они определяют набор тем парадигм или метафор, задающих рамки для социального действия.)

Эффективная регламентация какого-либо действия законом обусловлена тем, что содержание этого действия соответствует отвлеченному понятию, общую ценность которого и устанавливает данный закон; в противном случае действие потонуло бы в непрерывно развивающихся событиях и фактах и не дало бы возможности закону уверенно применяться к нему: только посредством понятия и устанавливается некое смысловое образование, относящееся к категории всеобщего, форма, законодательная для бесчисленных казусов и содержаний. Так, у Канта категорический императив обладает, кроме логической структуры закона природы, еще и структурой правового положения: закон извне предъявляет индивиду свое «объективно частичное требование» при в общем-то принципиальном равнодушии к целостности этого субъекта, и вопрос о применимости к целому даже и не становится, что создает безграничную возможность неприменимости. «Закон не имеет ни принципиальной адекватности к отдельному случаю, свойственной закону природы, ни абсолютного противопоставления, как в исходящем от человека приказе. Здесь противопоставление означает более глубокую связь, и возникает серьезная проблема применимости: если закон неприменим, то он и незначим»<sup>62</sup>.

Право имеет нормативный характер, является нормой в широком смысле вовсе не потому, что оно предписывает и приказывает, а потому, что оно должно в первую очередь создать сферу собственного отношения к реальной жизни, т.е. нормализовать ее: «Факт включается в правовой порядок посредством парадоксального его исключения, и нарушение, кажется, предшествует дозволенному случаю и определяет его», насилие же выступает здесь как исконный юридический факт.

«Жизнь, которая таким образом оказывается включенной в сферу права и связанной должностованием», может стать таковой только посредством собственного «включающего

<sup>60</sup> Агамбен Дж. Homo sacer. С. 28.

<sup>61</sup> Указ. соч. С. 30.

<sup>62</sup> См.: Зиммель Г. Созерцание жизни // Избранное. М., 1996. Т. 2. С. 150.

исключения». Это и есть парадоксальная фигура — предел жизни, граница, на которой жизнь является одновременно внутри и вне правового порядка, и этот порог является местом расположения суверенной власти<sup>63</sup>. («Сквозь наилучшую систему права вновь и вновь проглядывают столь грубые факты, как классовые привилегии, злоупотребление властью, произвол и неравенство: за юридическими фикциями свободного товарообмена, свободного трудового договора... повсюду видно неравенство во власти и шантаж»<sup>64</sup>.)

Еще Джамбаттиста Вико заметил ценностное превосходство исключения как «последней конфигурации фактов» над систематизированным позитивным правом. Приостановленная действенность позитивного права во время чрезвычайного положения позволяет определить «нормальный» строй как область собственного действия, исключение же тем самым поддерживает отношения с нормой, но уже в негативной форме прекращения ее действия: «норма применяется к исключению в акте, приостанавливающем ее применение, в изъятии из оборота самой нормы». При этом чрезвычайное положение вовсе не является каким-то хаосом, предшествующим установлению порядка, но ситуацией, которая становится результатом только временного прекращения порядка. Исключение — это не отклонение от правила, здесь правило, временно прекращая свои действия, уступает место исключению, делая это правилом.

Особая сила закона заключена в его способности поддерживать отношение с «внешним»: общество пытается заключить это «внешнее» в себя, то есть конституировать его как «внутреннее», имеющее этот двусмысленный статус ожидания или исключения (Бланшо). И тогда между фактической и правовой ситуациями устанавливается порог неразличимости: Карл Шмитт в этой связи подчеркивал: «Так как не существует нормы, которая могла бы быть применима к хаосу, хаос должен быть сначала включен в порядок посредством создания зоны неразличимости между внешним и внутренним, между хаосом и нормальной ситуацией».

Действенность правовой нормы никак не совпадает с ее стремлением и способностью быть применимой к индивидуальному случаю, а норма — именно потому, что она является всеобщей, — старается быть действенной независимо от индивидуального случая. Норма может относиться к индивидуальному случаю только потому, что в суверенном исключении сама она обладает действенностью как чистая возможность, открывшаяся в момент приостановки любого актуального отношения<sup>65</sup>.

Закон имеет настоящее значение только для суверена, поскольку тот является единственным исключением, но не выходит из сферы права, это — закон, который «имеет значение, но не смысл» (Ф. Анкерсмит). (Кafka описал эту ситуацию как «необходимое изучение и знание, но не исполнение закона».) Закон не в состоянии оторваться от суверена, который его сам же для себя устанавливает, однако исключительно с целью подчинять себе других при его посредстве, и это точка неразличимости доправового насилия и права. Известная притча Франца Кафки о Законе демонстрирует «чистую» форму закона, когда тот достигает своей максимальной способности к принуждению, сам же ничего не предписывает и является просто чистым запретом. В соответствии со схемой «чистого исключения» закон применяется к ожидающему у ворот крестьянину и, не применяясь, держит того под запретом, оставляя его за своими пределами; не предписывает ничего, кроме необходимости его раскрыть: такая действенность без значения и выражает самую суть отверженности, — закон действует, но не означает. (Так и у Канта чистая воля, т.е. воля, только детерминированная формой закона, не является ни свободной, ни несвободной<sup>66</sup>.) Чем меньше в законе содержания, тем беззащитнее жизнь перед его всепроникающей силой, когда каждый случайный жест может иметь фатальные последствия, и суверен понимает это лучше, чем кто-либо другой: чтобы стоящий над действием закона мог требовать от него нравственного значения, он сам должен происходить только из проходящей как должное жизни индивида в ее единстве, или, точнее, — быть мгновенным ее формированием. Индивиду-

<sup>63</sup> См.: Агамбен Дж. Homo sacer. С. 38.

<sup>64</sup> Слотердайк П. Критика цинического разума. С. 272.

<sup>65</sup> См.: Агамбен Дж. Указ. соч. С. 27—29.

<sup>66</sup> См.: Указ. соч. С. 70—71.



альный закон не что иное, как открывающаяся в качестве долженствования «тотальность или центральность» самой жизни<sup>67</sup>.

Субъект, преданный абсолютному закону, он же — изгнанный, отвергается любой другой юрисдикцией: «Суверенность в действительности и есть этот самый закон “за пределами закона, которому мы вручены”, т.е. это власть номоса, полагающая сама себя, и лишь при условии, если нам удастся освободить отверженное бытие от самой идеи закона (пусть даже в его пустой форме действенности без значения), можно будет сказать, что парадокс суверенной власти остался позади и что мы движемся в направлении политики, не знающей запрета или отвержения. Чистая форма закона — это всего лишь пустая форма отношения, это уже не закон, а скорее зона неразличимости между законом и жизнью»<sup>68</sup>. (Человек перемещается по жизни, словно в раковине, образованной всякий раз «особенной субординацией... еще не оформленных как вещи и блага ценностей и ценностных качеств. Через окна этой раковины он воспринимает мир и себя самого» (Макс Шелер)).

Георг Зиммель ввел в обращение это противоречивое словосочетание — «индивидуальный закон»: то, что всегда стремится к всеохватности и всеобщности, должно было сосредоточиться на единственном объекте, точке, в которой сходится реальность существования и долженствования, как императив, бытие и воля. Это и есть место пребывания метафизического суверенитета. Долженствование — такая же реальность, как и «голая жизнь», и в действительности противостоят друг другу не жизнь и долженствование, а действительность жизни и ее долженствование. Долженствование так же не имеет цели, как действительность вообще не имеет причины: мир долженствования есть мир требуемого, требуемости, которая обладает объективной значимостью.

Жизнь непрерывно создает нечто, на чем она сама ломается и что ее насилует, нечто, являющееся для нее необходимой собственной формой и тем самым малым противоречием

динамике жизни, ее неспособности остановиться: «Таковы закон и право, наследуемые как вечная болезнь, т.к. при дальнейшем развитии жизни, для которой они вначале были разумом и благодеянием, они становятся бессмысленностью и мучкой». Эта общая судьба образований, норм и принципов, при посредстве которых жизнь всегда утверждала себя как долженствование, и должное есть автономное образование, коренящееся в той же глубине, что и действительность<sup>69</sup>. Формы, созданные жизнью, имеют «упроченные собственной внутренней логикой надвигательный смысл и состояние, и их притязанию на установление норм жизни сопротивляется именно сама эта жизнь как долженствование, с ее безграничной дифференцированностью» (Георг Зиммель).

Закон или статут с этой точки зрения есть только парадигма или метафора, и законодательство не должно иметь целью воплощение неких априорных принципов справедливости, а должно принимать во внимание, «сколько пространства оставляет оно чиновнику и гражданину», чтобы каждый из них сказал бы то, что можно сказать разумного, поэтому именно метафора и становится нормативным выбором для законодателя (Джеймс Уайт)<sup>70</sup>. Ведь и в «Левифане» в единстве объединяются не отдельные субъекты, а только их точки зрения: аргумент Гоббса заключался во введении единой точки зрения, оставляющей эгоизм и агрессивность без каких-либо изменений, но которая, однако, все же преобразует исходный социальный хаос в хорошо упорядоченное социальное образование. (М. Фуко находит этому некоторые культурные параллели, соединяющие метафизику и юриспруденцию: «Алхимия — это знание, имеющее своей моделью дознание». Речь идет не о расследовании с прагматической целью выявления истины, речь идет о противостоянии двух сил: силы алхимика, искателя и силы природы, скрывающей свои секреты; силы тьмы и силы света, добра и зла. Алхимия есть натуралистическая форма дознания. Алхимическое знание представлялось путем тайных или явных правил исполнения процедур: «Алхимия образует, по сути, свод правовых правил и процедур»<sup>71</sup>.)

<sup>67</sup> См.: Зиммель Г. Указ. соч. С. 147—149.

<sup>68</sup> Агамбен Дж. Указ. соч. С. 80—81.

<sup>69</sup> См.: Зиммель Г. Указ. соч. С. 117.

<sup>70</sup> См.: Анкерсмит Ф. Указ. соч. С. 300.

<sup>71</sup> Фуко М. Указ. соч. С. 99.

Но и ложное срастание индивидуальности с субъективностью должно быть так же устранено, как и предвзятое срастание общности с законностью: «индивидуальный закон» столь же далек от субъективизма и анархии, как и притягивающий на это общий закон, выведенный из понятийного основания права. Факторы правового поведения — импульсы и максимы — внутренние движения и ощущаемые последствия — фигурируют в качестве объективных элементов, представляющих фактическое содержание, из которых логически следует отношение к высшей обязательной норме (у Кельзена — «базовой норме»).

Но набор конституционных правил, одинаковых для всех участников (парламентского) политического спора, часто используется ими для того, чтобы еще больше удалиться от того, что они еще могут признавать политической истиной. Этот спор вовсе не движется по направлению к истине, но, напротив, уводит от истины: ведь конституционные правила публично наблюдаемого поведения позволяют политикам достигать компромисса, даже если нет почти ничего, на чем они могли бы сойтись, не дискредитируя понятия политической истины<sup>72</sup>. Потому что истина и убеждение не играют никакой особенной роли в области публичного поведения, их область — это внутреннее политическое убеждение, и только там они определяют все. (Демократия, по мнению Токвиля, приватизирует области, бывшие при аристократии публичными. Мнение становится чем-то, что можно изменить, поменять, разрушить или взрастить, тогда как при аристократии отдельный человек не мог так свободно распорядиться мнением, поскольку оно действительно находилось в общественной собственности. Философия «естественно-

го права» демонстративно выступает в этой новой политической ситуации «извращенным превознесением частного над публичным».) Так, «добрая воля», например, не нуждается в формальном обязательстве, налагаемом законом, в качестве таковой она ничего не знает о нем, ибо исконно добра, «жизнь протекает как бы в индифферентности формы ее действительности и формы ее долженствования». И только путем рефлексии мы превращаем момент долженствования в ряд содержаний, в твердо очерченное и обозначенное как закон образование. Как замечает Георг Зиммель, «наши действия всегда требуют законности, но не всегда законов», подобно тому, как суверенность еще не означает наличия суверенитета.

Гёте говорил, что ощутимым образом в «явлениях встречаются лишь исключения из них». И здесь речь идет не о единственности, а о своеобразии, о «росте из собственного корня», но это и есть основание для «индивидуального закона». «Там, где индивидуальность и закон противостоят друг другу, индивид всегда может сказать: закон мне не подходит, это не мой закон. Однако возможный здесь произвол исключает именно “индивидуальный закон”; а он полностью основан на том предположении, что индивидуальность не есть просто субъективность или произвол: и если действительность — одна форма, в которой живет индивидуальность, обладает объективностью, то и другая ее форма, долженствование, также обладает ею в неменьшей степени»<sup>73</sup>. Индивидуальным может быть только действительное, а не идеально-нормативное, законным же — только общее, а не индивидуальное. На этом пути, как кажется, и осуществляется связь индивидуальности и законности. И здесь же встречаются, не сливаясь, суверенность и суверенитет.

## БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агамбен Дж. Средства без цели. — М., 2015.
2. Агамбен Дж. Номос sacer. Суверенная власть и голая жизнь. — М., 2011.
3. Анкерсмит Ф. Эстетическая политика. — М., 2014.
4. Батай Ж. Суверенность // Проклятая часть. — М., 2000.
5. Беджгот В. Государственный строй Англии. — М., 1905.
6. Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. — М., 2002.
7. Боден Ж. Метод легкого изучения истории. — М., 2000

<sup>72</sup> См.: Зиммель Г. Указ. соч. С. 171.

<sup>73</sup> Зиммель Г. Указ. соч. С. 127, 176, 183.

8. Гильманов В. Х. Симон Дах и тайна барокко. — Калининград, 2007.
9. Зиммель Г. Созерцание жизни // Избранное. — М., 1996. — Т. 2.
10. Кожев А. Понятие власти. — М., 2007.
11. Лефевр А. Построение пространства. — М., 2015.
12. Мишель А. Идея государства. — М., 2008.
13. Сен-Симон. Мемуары. — М., 1991. — Кн. 1.
14. Слотердайт П. Критика цинического разума. — Екатеринбург, 2001.
15. Слотердайт П. Солнце и смерть. — СПб., 2015.
16. Слотердайт П. Сферы. — СПб., 2007. — Т. II. Глобусы.
17. Фуко М. Истина и правовое установление // Интеллектуалы и власть. — М., 2005. — Ч. 2.
18. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003.
19. Шмитт К. Разговор о власти и о доступе к властителю // Социологическое обозрение. — 2007. — Т. 6. — № 2.
20. Шпрингер Э. Формы жизни: гуманитарная психология и этика личности. — М., 2014.
21. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002.
22. Юнгер Э. Рискующее сердце. — СПб., 2010.

Материал поступил в редакцию 15 сентября 2015 г.

## SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE STATE: EXTENT OF ALOOFNESS AND AUTHORITY

**ISAEV Igor Andreevich** — Doctor of Law, Professor, Head of the Department of History of the State and Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Honored Worker of Science of the RF  
kafedra-igp@mail.ru  
125993, Russia, Moscow, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9.

**Review.** *The article considers the fundamental issues of legal theory, namely, the interrelation between sovereignty as the status and independence of the State as a quality and a property of legal reality. The specifications of legal sovereignty are compared with the specifications of such a political form of government as an absolute monarchy to which sovereignty was a determining factor and style. Authoritativeness created by sovereignty is closely connected with the problems of domination and subordination. The author analyses the concept of “the aesthetic state” born in the Renaissance and transformed during the period of sovereignty and absolute monarchy development. Such category as “an individual law” used to define sovereignty and independence of the state is of particular importance for the analysis of the problem. The intersection of legal, cultural, psychological elements allows to reveal the most important aspects of the problem. Sovereignty as a special legal status may be expressed in a collective or individual form. Sovereignty is not identical to the dictatorship, but it includes an element of domination. The dictatorship suggests the limited period of its existence and the situation of emergency, sovereignty claims to be of eternal, or at least, of continued existence. Sovereignty does not coincide with independence of the state, for the latter tend to focus on the state of freedom and self-determination, while sovereignty, always tends to hegemony. «Masks» of the sovereignty are diverse, but its essence remains indispensable. Sovereignty forms the area of integrity and requires concentration of authority in one center. For the sovereignty the institute of representation is of secondary importance for it. Political attention is focused on the uniform subject of authority. Subjectivity is the defining feature of the independence of the state. Monarchical and republican forms of government are rather amorphous forms and cannot be directly and unambiguously associated with the concept of independence of the state. With regard to the legal sphere, sovereignty, being a product of law, forms norms and institutions affecting the surrounding contexts. Sovereignty is characterized by exclusivity due to subjectivism that is inherent to sovereign rule-making. Establishing laws of the sovereign characterize both activities of individual and collective sovereigns. The history of monarchies and republics is very similar due to these properties, sovereign existence.*

**Keywords:** *law, the law, sovereignty, independence of the state, authoritativeness, authority, obligation, subject, entirety, coercion, king, royal court, constitution, state of emergency, exception, autocracy, sovereign, rule of law, representation, monarchy, republic, legitimacy, legality, dictatorship, authority, subject of law, political freedom, domination, status, a law, legality, justice.*

## BIBLIOGRAPHY

1. *Agamben, G.* Means Without End. M. 2015.
2. *Agamben, G.* Homo sacer. Sovereign Power and Bare Life. M. 2011.
3. *Ankersmit, F.* Aesthetic Politics. M. 2014.
4. *Bataille, G.* Sovereignty // The Accursed Share. M. 2000.
5. *Bagehot, W.* British Political System. M. 1905.
6. *Benjamin, W.* The Origin of German Tragic Drama. M. 2002.
7. *Bodin, J.* Method for the Easy Comprehension of History. M. 2000
8. *Gilmanov, V. H.* Simon Dach and the Baroque Mystery. Kaliningrad. 2007.
9. *Simmel, G.* Contemplation of Life // Selected Works. V. 2. M., 1996.
10. *Kozhev, A.* The Concept of Power. M. 2007.
11. *Lefebvre, H.* The Production of Space. M. 2015.
12. *Michelle, A.* The Idea of the State. M. 2008.
13. *Saint-Simon.* Memoirs. M. 1991. v. 1.
14. *Sloterdijk, P.* Critique of Cynical Reason. Yekaterinburg. 2001.
15. *Sloterdijk, P.* Neither Sun nor Death. SPb. 2015.
16. *Sloterdijk, P.* Globes: Spheres Volume II. SPb. 2007.
17. *Foucault, M.* Truth and Power // Intellectuals and Power. M. 2005. part. 2
18. *Henshall, N.* Myth of Absolutism. SPb. 2003.
19. *Schmitt, K.* Dialogue on Power and Access to the rulers. // The Sociological Review. V. 6. № 2. 2007.
20. *Spranger, E.* Forms of Life: The Psychology and Ethics of Personality. M. 2014.
21. *Elias, N.* The Court Society. M. 2002.
22. *Junger, E.* Risk of Heart. SPb. 2010.